

АНДРЕЙ ЛЕСНОЙ

БЕЧЕВНИК



ДЖОРДЖТАУН • 1964

Андрей Лесной

Бечевник

«Автор»

2026

Лесной А.

Бечевник / А. Лесной — «Автор», 2026

Вашингтон, октябрь 1964 года. На тропе вдоль канала в Джорджтауне среди бела дня застрелена Мэри Мейер, художница из высшего общества. Полиция мгновенно находит «убийцу», и дело спешат закрыть. Но у Рут Каллан, молодой художницы, которая делила с Мэри мастерскую, остался зелёный альбом. В нём зарисовки воскресных ужинов в особняке на Кью-стрит, а на полях — зашифрованные записи о людях, которые никогда не отдают приказов, а просто говорят за ужином: «Было бы хорошо, если бы». Вместе с упрямым детективом Майклом Дораном, отстранённым от дела за лишние вопросы, Рут начинает расследование, которое может стоить им обоим жизни. И любви, которая рождается там, где никому нельзя доверять. Роман основан на реальном убийстве, которое официально так и не раскрыто.

© Лесной А., 2026

© Автор, 2026

Андрей Лесной

Бечевник

Андрей Лесной

БЕЧЕВНИК

роман

Основано на реальных событиях

Здесь все друзья. Поэтому здесь никто не в безопасности.

Мэри Мейер, 1964

Содержание

Пролог

Часть первая

Глава первая. Мастерская

Глава вторая. Канал

Глава третья. Свидетельница

Глава четвёртая. Воскресные люди

Глава пятая. Похороны

Глава шестая. Ночной гость

Часть вторая

Глава седьмая. Краски

Глава восьмая. Рост

Глава девятая. Рождество в Балтиморе

Глава десятая. Белая страница

Глава одиннадцатая. Шофёр

Глава двенадцатая. Кью-стрит

Часть третья

Глава тринадцатая. Трещина

Глава четырнадцатая. Национальная галерея

Глава пятнадцатая. Лодочная станция

Глава шестнадцатая. Суд

Глава семнадцатая. Бечевник ночью

Глава восемнадцатая. Пепел

Глава девятнадцатая. Отъезд

Эпилог

От автора

Пролог

Вашингтон, 12 октября 1964 года, 12:20

В октябре Потомак пахнет железом и прелыми листьями. Мэри знала этот запах двадцать лет и всё равно каждый раз останавливалась у первого шлюза, чтобы вдохнуть его, как вдыхают запах дома, в который возвращаются после долгой дороги.

Она вышла из мастерской ровно в полдень. Сказала Рут, что вернётся к двум, что свет сегодня хороший, северный, ровный, и что если зайдёт кто-нибудь из «воскресных», её нет и не будет. Рут подняла на неё глаза — рыжая чёлка, пятно ультрамарина на щеке — и засмеялась: кто же зайдёт в понедельник? В понедельник в Джорджтауне все приходят в себя после воскресенья.

Мэри тоже засмеялась. Потом положила на край стола, рядом с банкой кистей, зелёный холщовый альбом и сказала, уже в дверях, будто между прочим:

— Пусть полежит у тебя. Если я задержусь — не отдавай его никому. Даже если будут очень вежливы. Особенно если будут очень вежливы.

Теперь, на бечевнике, она думала, что это было глупо. Глупо и немного театрально — как в тех фильмах, которые так любил Джек: женщина в светлом пальто, секрет в сумочке, тень на мосту. Джек бы посмеялся. Джек вообще умел смеяться над тем, что его пугало, и это было, пожалуй, лучшее, что в нём было.

Она запретила себе думать о Джеке. Прошёл почти год. Вещи, которые нельзя изменить, надо рисовать, а не думать о них, — так говорил её первый учитель, старый немец с Лонг-Айленда, и так она жила: всё, что болело, превращалось в цвет. Серый — это ожидание. Охра — это детство в Милфорде, в большом доме над рекой, где пахло книгами и собаками. Кадмий красный — это Майкл, её мальчик, её девятилетний мальчик, которого восемь лет назад сбила машина на дороге в Вирджинии. Кадмий красный она почти не брала в руки.

Бечевник тянулся вдоль канала узкой утоптанной лентой. Слева — тёмная неподвижная вода канала, в которой отражались вязы и старые каменные стены. Справа, за полосой кустарника и деревьев, — Потомак, быстрый, мутный после дождей, с белыми бурунами у камней. Сто лет назад по этой тропе шли мулы и тянули баржи с углём. Потом баржи кончились, мулы кончились, а тропа осталась. Тропы вообще живут дольше, чем то, ради чего их протоптали.

Мэри шла быстро. Она всегда шла быстро — в синих брючках, в светлом свитере под курткой, в перчатках, потому что к полудню от реки тянуло холодом. Навстречу ей пробежал молодой человек в армейской футболке — бегун, их в последние годы становилось всё больше, — кивнул на ходу. Она кивнула в ответ.

Мост Ки остался позади. Шум машин с Канал-роуд доносился сверху приглушённо, как из соседней комнаты.

Она думала о воскресенье. О том, как Грэм Уиткомб за кофе снова завёл разговор об отчёте комиссии. Отчёт вышел три недели назад — восемьсот восемьдесят восемь страниц, серый переплёт, всё аккуратно, всё по полочкам: один человек, одна винтовка, одно окно. Грэм держал экземпляр на рояле, как держат Библию, и говорил своим мягким, почти ласковым голосом: «Видите, друзья мои, всё оказалось просто. Самое страшное в мире обычно оказывается простым».

И тогда Мэри, которая выпила на один бокал больше, чем следовало, сказала через весь стол:

— Грэм, а помнишь, что ты сказал в прошлом ноябре? За пять дней? Что через пять дней всё решится?

За столом стало тихо. Так тихо, что было слышно, как в соседней комнате тикают напольные часы.

Грэм улыбнулся. Он умел улыбаться так, что человеку становилось стыдно за свой вопрос.

— Мэри, дорогая. Я говорил о голосовании по бюджету. Ты же знаешь, какой я зануда.

Все засмеялись. Элеонора, жена Грэма, не засмеялась. Она смотрела на Мэри так, как смотрят на человека, который стоит на краю крыши и не знает об этом.

А у двери, в сером пиджаке, стоял шофёр Грэма — тот самый, с аккуратными руками, который никогда не садился, — и тоже не смеялся.

Мэри мотнула головой, прогоняя воспоминание. Глупость. Всё это глупость. Она нарисовала их всех — весь этот стол, эти лица, эти руки с бокалами, — и когда рисунок был закончен, ей стало легче, как всегда. Она записала на полях то, что хотела записать, так, как записывала всегда, — цветами. Никто, кроме неё, не поймёт. А может быть, поймёт Рут. Рут умная. Рут умеет смотреть.

Она прошла ещё немного и остановилась, чтобы застегнуть куртку.

И услышала шаги за спиной.

Шаги не были ни быстрыми, ни медленными. Это было самое неприятное: в них не было ничего особенного. Так ходят люди, которые знают, куда идут. Мэри не обернулась сразу. Она подумала — почему-то очень ясно, словно прочитала в книге, — что если обернуться, то придётся увидеть, а если не оборачиваться, то можно ещё несколько секунд жить так, будто ничего не происходит.

Потом она обернулась.

Мужчина в светлой куртке и тёмной кепке. Лицо — обычное. Руки — в карманах. Он остановился в трёх шагах и посмотрел на неё без злобы, даже с каким-то сожалением, как смотрят на сломанную вещь, которую всё равно придётся выбросить.

— Миссис Мейер, — сказал он. Не спросил — сказал.

Она всё поняла. Поняла сразу, целиком, как понимают картину — не по частям, а вся разом, со всеми тенями и бликами. Поняла, что это не случайность, не грабитель, не сумасшедший. Поняла, что альбом лежит на столе у Рут, и это, может быть, единственное умное, что она сделала за этот год. Поняла, что Грэм не будет присутствовать при этом, потому что Грэм никогда ни при чём не присутствует.

— Кто-нибудь! — закричала она, и собственный голос показался ей чужим, тонким, как у девочки. — Помогите, кто-нибудь!

Она бросилась к деревьям, к кромке берега, туда, где за кустами шумела река.

Первый выстрел прозвучал глухо, как будто где-то уронили доску.

Наверху, на Канал-роуд, механик, который возился с заглухшей машиной, поднял голову.

Второй выстрел был громче.

Потом над водой стало очень тихо, и только Потомак продолжал шуметь внизу, как шумел сто лет назад и будет шуметь ещё сто лет спустя, — река, которой нет никакого дела до того, что люди делают друг с другом на её берегах.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Октябрь

Глава первая

Мастерская

Мастерская Мэри помещалась в бывшем гараже, в переулке за Эн-стрит, и Рут любила её так, как не любила ни одну комнату в своей жизни.

Здесь было холодно зимой и душно летом, здесь протекала крыша над левым окном и скрипели ворота, которые Мэри так и не собралась переделать в нормальную дверь. Но здесь был свет. Огромное окно, прорубленное в северной стене, давало тот ровный, спокойный, почти монашеский свет, за который художники готовы продать душу. Рут, выросшая в Балтиморе в квартире с окнами на кирпичную стену, первые две недели просто сидела на табурете и смотрела, как этот свет лежит на полу.

Угол у окна Мэри сдала ей полтора года назад за смешные деньги — пятнадцать долларов в месяц, «на краски и на совесть», как она сказала. Рут тогда пыталась спорить, но Мэри махнула рукой: «Мне нужен кто-то, кто будет здесь дышать. Когда здесь никто не дышит, я начинаю разговаривать с холстами. Это плохой знак для женщины моего возраста».

Утром двенадцатого октября Рут пришла к девяти. Она работала над большим холстом — баржи в балтиморской гавани, серое на сером, — и холст не получался уже третью неделю. Мэри пришла позже, около десяти, в хорошем настроении, с бумажным пакетом пончиков, и они выпили кофе из щербатых кружек, сидя на ящиках из-под красок.

— Ты слишком стараешься, — сказала Мэри, глядя на баржи. — Ты хочешь, чтобы было похоже. А надо, чтобы было правдой. Похоже — это для полиции и для страховых агентов.

— А правда для кого?

— Правда ни для кого. Правда сама для себя. Поэтому её никто и не покупает.

Мэри засмеялась, а потом долго молчала, глядя в окно. Рут знала это молчание. За последний год его стало больше. Мэри как будто прислушивалась к чему-то, что звучало очень далеко, на пределе слышимости.

В полдень она надела куртку, натянула перчатки. Сказала про хороший свет, про прогулку, про то, что вернётся к двум. Положила на стол альбом — Рут знала этот альбом, зелёный, холщовый, потёртый на углах, — и сказала про вежливых людей.

Рут тогда не придавала этому значения. Мэри часто говорила странные вещи. В этом была половина её обаяния.

* * *

К двум Мэри не вернулась.

К трём Рут перестала поглядывать на ворота.

В половине четвёртого по переулку проехали две полицейские машины с сиренами, потом ещё одна, и Рут, отложив кисть, вышла посмотреть. Сирены уходили вниз, к каналу. На углу стояли две женщины в фартуках и мальчишка-разносчик с велосипедом.

— Говорят, на канале кого-то застрелили, — сказал мальчишка с тем восторгом, с каким мальчишки говорят о чужой смерти. — Женщину. Белую.

Одна из женщин перекрестилась.

Рут вернулась в мастерскую. Взяла кисть. Положила кисть. Посмотрела на зелёный альбом, который лежал там, где его оставили, — на краю стола, рядом с банкой. Потом включила маленький радиоприёмник, который стоял на полке среди банок со скипидаром.

Музыка. Реклама сигарет. Снова музыка.

В пять часов диктор сказал, что на бечевнике канала Чесапик-Огайо, неподалёку от моста Ки, обнаружено тело женщины с огнестрельными ранениями. Личность устанавливается. Полиция задержала подозреваемого.

Рут выключила радио.

«Личность устанавливается», — повторила она про себя. Это ничего не значило. Каждый день по бечевнику гуляли сотни женщин. Это могла быть кто угодно. Это могла быть служанка из посольства, студентка из Джорджтаунского университета, чья-то тётя из Огайо, приехавшая посмотреть столицу.

Она села на ящик и стала ждать.

* * *

Они пришли в начале восьмого, когда уже стемнело.

Сначала Рут слышала, как во дворе хлопнула дверца машины. Потом — голоса. Потом ворота мастерской, которые никогда не запирались, со скрипом поехали в сторону, и внутрь, в полосу света от лампы, шагнули двое мужчин.

Первого она знала — это был муж сестры Мэри, газетчик, большой, шумный, с лицом боксёра и голосом, от которого дребезжали стёкла. Сейчас его лицо было серым, а голос тихим.

— Мисс Каллан, — сказал он. — Вы... Вы уже знаете?

Рут встала. Ей показалось, что пол под ногами стал мягким, как мокрый песок.

— Нет, — сказала она. — Я ничего не знаю. Скажите мне.

Он сказал.

Потом было несколько минут, которых Рут потом никогда не могла вспомнить. Кажется, она не плакала. Кажется, она стояла и держалась рукой за край стола, и край стола был шершавым, и она почему-то думала о том, что его давно пора зашкурить. Кажется, газетчик положил

руку ей на плечо и что-то говорил — про полицию, про сестру Мэри, про то, что «они уже взяли какого-то парня». Слова проходили мимо, не задевая.

А потом она заметила второго.

Он стоял чуть позади, у стеллажа с холстами, и не смотрел на неё. Высокий, очень худой, в тёмном пальто, в очках с толстыми стёклами. Лицо у него было узкое, бледное, с глубокими складками у рта — лицо человека, который мало спит и много курит. Он и сейчас курил: сигарета в длинных пальцах, пепел, который он аккуратно стряхивал в ладонь, чтобы не уронить на пол.

Он смотрел на стеллажи. На полки. На ящики. Смотрел не так, как смотрят люди, пришедшие в дом, где случилось горе. Он смотрел так, как смотрит оценщик на аукционе.

— Это друг семьи, — сказал газетчик, заметив её взгляд. Сказал как-то слишком быстро. — Он... помогает.

Худой человек не представился. Он кивнул Рут — вежливо, почти церемонно — и спросил тихим, ровным голосом:

— Мисс Каллан, миссис Мейер держала здесь какие-нибудь личные записи? Тетради, дневники? Может быть, письма?

Особенно если будут очень вежливы.

Рут сама не знала, что заставило её сделать то, что она сделала. Может быть, этот голос. Может быть, пепел в ладони. Может быть, то, что человек задал этот вопрос через четыре часа после того, как Мэри убили, и это был первый вопрос, который он задал.

— Не знаю, — сказала она. — Мы не лезли в дела друг друга. У неё был свой угол, у меня свой.

Это была правда. Почти правда.

— Вы позволите? — спросил худой человек и, не дожидаясь ответа, прошёл в угол Мэри.

Рут смотрела, как он работает. Это было именно слово — работает. Он не рылся, не бросал вещи. Он брал каждую папку, открывал, пролистывал, закрывал и клал ровно туда, откуда взял. Выдвигал ящики стола. Простукивал — Рут не поверила своим глазам — простукивал костяшками пальцев стенку шкафа. Газетчик стоял у двери, мял в руках шляпу и смотрел в пол.

Зелёный альбом лежал на краю Рутиного стола, в полутора метрах от неё. Рядом с банкой кистей. На самом виду.

Рут медленно, очень медленно, как будто ей просто стало холодно, подошла к столу. Взяла свою старую куртку, висевшую на спинке стула, и накинула на плечи. Потом, словно в рассеянности, стала собирать кисти, вытирать их тряпкой, складывать в деревянный ящик для этюдов — большой, с двумя отделениями, отцовский подарок на восемнадцатилетие. Кисти. Тюбики. Палитру. Тряпку.

Альбом она опустила в нижнее отделение, под палитру, одним движением, не глядя, так, как опускают в карман сдачу.

Сердце у неё стучало так громко, что, казалось, его слышно в переулке.

Худой человек выпрямился. Посмотрел на её угол. Посмотрел на неё.

— Вы уходите, мисс Каллан?

— Я не могу здесь оставаться, — сказала Рут, и голос её дрогнул, и это была единственная вещь за весь вечер, которую ей не пришлось изображать. — Простите. Я не могу.

Он помолчал. Потом кивнул.

— Конечно. Примите мои соболезнования. Вы ведь были дружны.

— Были, — сказала Рут. — Были дружны.

Она закрыла ящик, щёлкнула застёжкой, взяла его за ручку. Ящик был тяжёлым, как всегда, и ни на унцию тяжелее. Она прошла мимо худого человека — так близко, что почувство-

вала запах табака и какого-то холодного одеколona, — и мимо газетчика, который попытался что-то сказать и не сказал.

Во дворе стояла машина — длинная, чёрная, с работающим мотором. За рулём сидел кто-то, чьего лица Рут не разглядела: только огонёк сигареты в темноте.

Она не побежала. Она дошла до конца переулка обычным шагом, свернула за угол и только там, прижавшись спиной к холодной кирпичной стене, позволила себе заплакать.

* * *

Домой она добиралась почти час. Рут жила в Фогги-Боттом, в комнате над китайской прачечной мистера Ли, и обычно доходила туда за двадцать минут. Но сегодня она шла кружным путём, по Эм-стрит, потом через мост на Рок-Крик, потом переулками, и всё время оглядывалась. Никто за ней не шёл. Или шёл так, что она не могла заметить. Она не знала, что хуже.

В комнате пахло крахмалом и горячим паром — этот запах поднимался снизу, из прачечной, и въедался во всё: в одежду, в волосы, в холсты. Рут заперла дверь на ключ, потом на цепочку, потом придвинула к двери стул — глупо, по-детски, она сама это понимала.

Она открыла ящик, достала альбом и положила на кровать.

Долго смотрела на него, не прикасаясь. Зелёный холст. Потёртые углы. Пятнышко краски на корешке — кадмий красный, тот самый цвет, который Мэри почти никогда не брала в руки.

«Если я задержусь — не отдавай его никому».

Мэри знала. Может быть, не знала точно, но догадывалась. Иначе зачем бы она это сказала? Зачем оставила альбом, который всегда носила с собой, в сумке, как другие женщины носят пудреницу?

Рут протянула руку, коснулась обложки — и отдёрнула пальцы.

Не сегодня. Сегодня она не сможет. Сегодня она откроет его и увидит почерк Мэри, её быстрые линии, её лица, и тогда станет по-настоящему правдой то, что пока ещё можно было держать на расстоянии, как держат горячую сковороду — через полотенце.

Она завернула альбом в старую ночную рубашку и засунула между матрасом и сеткой кровати. Потом легла поверх одеяла, не раздеваясь, выключила свет и стала смотреть в потолок, по которому ползли жёлтые полосы от фар проезжающих машин.

Где-то внизу, в прачечной, мистер Ли гладил чужие рубашки и пел по-кантонски что-то тихое и печальное.

Рут подумала, что худой человек в очках так и не спросил, как её зовут. Он знал её фамилию. Он назвал её «мисс Каллан» с первой секунды.

Откуда?

Она не спала до утра.

Глава вторая

Канал

Детектив Майкл Доран приехал на канал в час двадцать, через тридцать пять минут после выстрелов, и первое, что он увидел, — это туфлю.

Туфля лежала на бечевнике, в стороне от тела, носком к воде. Женская, тёмно-синяя, на низком каблуке, хорошая, дорогая — из тех, что покупают не в универмаге на Седьмой улице, а в маленьком магазине в Джорджтауне, где продавец помнит тебя по имени. Доран остановился над ней и долго смотрел, пока лейтенант Бойл не окликнул его от деревьев.

— Майк! Ты там молишься?

— Думаю.

— Думай здесь. Здесь есть о чём.

Доран не любил, когда его торопили. В отделе это знали и потому торопили постоянно — из чистого спортивного интереса. Ему было тридцать четыре года, и он двигался как человек, которому семьдесят: медленно, основательно, переставляя ноги так, словно под ними был не

асфальт, а тонкий лёд над шахтой. Он вырос в Шамокине, в угольной Пенсильвании, где отец и оба деда спускались под землю, и привычка сначала смотреть, куда ставишь ногу, а потом ставить, осталась у него на всю жизнь. В Корее эта привычка дважды спасла ему жизнь. В полиции она сделала его лучшим детективом отдела и худшим кандидатом на повышение.

Тело лежало у самой кромки деревьев, на склоне к реке, лицом вниз. Кто-то уже накрыл его серым одеялом, из-под которого виднелась рука в светлой перчатке. Вокруг стояли патрульные, фотограф щёлкал камерой, и на всём этом — на одеяле, на людях, на траве — лежал спокойный, почти праздничный октябрьский свет.

— Два выстрела, — сказал Бойл. — Один в голову, у левого виска. Второй в спину, под лопатку. Второй — в упор, судя по ожогу на свитере. Док говорит, умерла сразу. Ну, почти сразу.

— Документы?

— Никаких. Ни сумки, ни кошелька. Только ключи в кармане куртки и перчатки.

— Ограбление?

Бойл пожал плечами.

— Может быть. Только кто грабит женщину, у которой ничего нет? Она вышла гулять. На ней брюки. Кто гуляет с сумкой в брюках?

Доран присел на корточки. Приподнял край одеяла. Посмотрел.

Женщине было лет сорок, может быть, чуть больше. Светлые волосы, коротко остриженные. Тонкое лицо. Он видел много мёртвых лиц — в Корее, потом здесь, в Вашингтоне, в переулках Шоу и на задворках Анакостии, — и научился смотреть на них так, как смотрят на документ, а не на человека. Но это лицо было трудно читать как документ. Оно было слишком живым. На нём застыло выражение, которое Доран не сразу смог назвать. Не ужас. Не боль. Что-то вроде удивления — как будто она до последней секунды не могла поверить, что это происходит именно с ней, именно здесь, в полдень, на тропинке, по которой она ходила сотни раз.

Он опустил одеяло.

— Свидетели?

— Двое. — Бойл кивнул вверх, в сторону Канал-роуд. — Механик с заправки, Уиггинс. Чинил там машину, «рамблер», у него заглох мотор. Услышал крики — «помогите, кто-нибудь», — потом выстрел, потом второй. Подбежал к ограде, посмотрел вниз. Говорит, видел человека над телом. Чернокожий, светлая куртка, тёмная кепка. Человек постоял, сунул что-то в карман и ушёл в лес.

— С какого расстояния он смотрел?

Бойл помолчал.

— Ярдов сто с лишним. Через канал.

— Сколько он смотрел?

— Майк, я не знаю. Несколько секунд.

— Кто второй?

— Армейский лейтенант, бегал здесь. Митчелл. Говорит, минут за десять до выстрелов обогнал женщину, а за ней шёл мужчина. Тоже чернокожий, тоже светлая куртка. Шёл, говорит, спокойно. Как будто просто гулял.

Доран поднялся, отряхнул колени.

— И вы его взяли.

— Взяли. — В голосе Бойла появилось удовлетворение. — Полчаса назад. Оцепили весь участок — с одной стороны канал, с другой река, выходов три, на всех поставили людей. Парень вылез из кустов у реки. Мокрый по пояс. Без куртки. Говорит, рыбачил, упал в воду. Говорит, удочку потерял. Кепку потерял. Всё потерял. Зовут Рэймонд Крамп. Двадцать пять лет. Живёт в Юго-Восточном районе, работает где придётся. Уже сидит в машине.

— Оружие?

— Ищем. Водолазов уже вызвали.

Доран посмотрел на реку. Потомук в этом месте был широкий, быстрый, с тяжёлой коричневой водой. Если пистолет бросили туда, водолазы могли искать его до Рождества.

— Пойдём посмотрим на парня, — сказал он.

* * *

Рэймонд Крамп сидел на заднем сиденье патрульной машины, наручники на запястьях, и дрожал. Октябрь был тёплым, но вода в Потوماке уже была холодной, а на Крампе были только мокрые брюки и мокрая клетчатая рубашка, прилипшая к спине. С брюк на резиновый коврик капало.

Доран сел на переднее сиденье, повернулся и долго смотрел на задержанного.

Крамп был маленьким. Это было первое, что бросалось в глаза. Маленьким и щуплым — узкие плечи, тонкие запястья в стальных браслетах, ребячья шея. На вид ему можно было дать лет восемнадцать. Он смотрел на Дорана снизу вверх, и в этом взгляде не было ни хитрости, ни злобы. Был страх — такой откровенный, животный страх, какой Доран видел у молодых солдат в первую ночь под обстрелом.

— Я ничего не делал, — сказал Крамп. — Сэр. Я ничего не делал. Я рыбачил.

— Где удочка?

— Упала. В реку упала. Я поскользнулся на камнях, и она упала, и я полез за ней, и...

— Где куртка?

Крамп отвёл глаза.

— Не было куртки.

— Лейтенант Митчелл видел тебя в куртке.

— Не было куртки, сэр.

Доран вздохнул. Парень врал. Это было видно так же ясно, как видно, что идёт дождь. Но врал он неумело, по-детски, как врут люди, которые боятся не того, о чём их спрашивают, а чего-то другого. Доран подумал, что, скорее всего, Крамп сегодня вовсе не рыбачил. Может быть, прогуливал работу. Может быть, встречался с женщиной, которая не была его женой. Может быть, пил в кустах у реки, как пьют тысячи людей, у которых нет другого места, чтобы выпить. И когда поднялся шум, когда завывали сирены и повсюду появились белые полицейские, он сделал то, что на его месте сделал бы любой чернокожий парень из Юго-Восточного района, — попытался исчезнуть.

— Встань-ка, — сказал Доран.

— Что?

— Выйди из машины и встань.

Крамп неуклюже выбрался наружу. Доран тоже вышел и встал рядом. Сам Доран был ростом шесть футов и один дюйм — сто восемьдесят пять сантиметров, как сказали бы в Европе. Макушка Крампа приходилась ему чуть выше плеча.

— Бойл, — позвал Доран. — Сколько, говоришь, Уиггинс дал росту?

Бойл достал блокнот, полистал.

— Пять футов восемь дюймов. Вес — фунтов сто восемьдесят пять. Крепкого сложения.

Доран посмотрел на Крампа. Пять футов три дюйма, не больше. Вес — фунтов сто тридцать, и то если в мокрой одежде.

— Крепкого сложения, — повторил он.

— Майк, он смотрел с сотни ярдов. — Бойл закрыл блокнот. — С сотни ярдов все одинаковые. Куртка светлая, кепка тёмная. Парень был здесь, парень мокрый, парень врёт. Чего тебе ещё надо?

— Пистолет, — сказал Доран. — Мне надо пистолет. И мне надо, чтобы человек, который хладнокровно выстрелил женщине в спину в упор, а потом за полчаса успел выбросить оружие, спрятать куртку и кепку и залезть в реку, выглядел хоть немного умнее этого мальчишки.

Крамп смотрел на них, переводя взгляд с одного на другого, и дрожал.

— Посади его обратно, — сказал Доран. — Дай ему одеяло. У вас есть одеяло?

— Было. — Бойл ухмыльнулся. — Мы им накрыли леди.

* * *

К пяти часам водолазы ничего не нашли.

К шести патрульные прочесали лесистый участок между каналом и рекой — ярд за ярдом, на коленях, — и нашли пустую бутылку из-под виски, две банки из-под пива, детский башмачок, сгнивший до черноты, и светлую ветровку, скомканную и засунутую в воду у самого берега. Куртку. Бойл принёс её, держа на палке, как дохлую змею, и сиял.

— Размер? — спросил Доран.

Бойл посмотрел на ярлык. Помолчал.

— Средний.

— Что в карманах?

— Ничего. Пусто.

Доран кивнул. Куртка была Крампа — в этом он почти не сомневался. Парень снял её и выбросил, потому что в ней его видел бегун. Это было глупо, но это было именно то, что сделал бы испуганный парень. А вот чего испуганный парень не сделал бы — так это не оставил бы в карманах ничего. Ни мелочи, ни сигарет, ни спичек, ни автобусного билета. У каждого человека в карманах куртки что-нибудь есть. Если ничего нет, значит, карманы кто-то вывернул. Или в куртке никогда ничего не было, потому что её надели один раз, для дела.

Он не сказал этого Бойлу. Бойл был хорошим полицейским и неплохим человеком, но Бойл хотел домой, к жене и к ужину, и Бойл уже написал в своей голове протокол, в котором всё сходилось.

* * *

Личность убитой установили в начале седьмого — по ключам и по звонку. Позвонил какой-то человек в управление, представился другом семьи, сказал, что знакомая не вернулась с прогулки. Назвал имя.

Мэри Пиншо Мейер. Сорок три года. Художница. Проживает в Джорджтауне. Разведена.

Доран записал это имя в блокнот и не придавал ему значения. Имя ему ничего не говорило. Он не читал светскую хронику и не ходил на выставки.

Значение этому имени придали другие.

В семь пятнадцать, когда Доран сидел в своём закутке в управлении на Индиана-авеню и печатал первый рапорт двумя пальцами, его вызвал к себе капитан Хэллоран.

Капитан был грузным человеком с красным лицом и белыми, как у младенца, руками. Он был неплохим начальником — не вмешивался, не требовал невозможного, не присваивал чужих заслуг. У него была только одна слабость: он очень, очень не хотел неприятностей.

Сегодня капитан выглядел так, словно неприятности сидели у него за столом и курили его сигары.

— Садись, Майк.

Доран сел.

— Дело Мейер, — сказал Хэллоран. — Как оно?

— Рано говорить, капитан. Задержали парня, Крампа. Есть свидетели, которые видели мужчину в светлой куртке. Но есть вопросы. Рост не совпадает. Оружия нет. Мотива нет.

— Мотив — ограбление.

— Ничего не пропало. У неё с собой ничего не было.

— Значит, попытка ограбления. Или изнасилования. Сопротивлялась, он испугался, выстрелил. — Хэллоран говорил быстро, как человек, который повторяет выученное. — Такое бывает, Майк. Ты знаешь, что такое бывает.

— Бывает, — согласился Доран. — Только парень, который пытается ограбить женщину и пугается, стреляет один раз. В панике. Куда попало. А здесь два выстрела. Первый — в голову, у виска. Второй — в спину, в упор, когда она уже лежала. Так пугаются не новички, капитан. Так работают люди, которые знают, что делают.

Хэллоран смотрел в стол.

— Майк, — сказал он наконец. — Мне звонили.

— Кто?

— Неважно кто. Люди. Сверху. — Капитан поднял глаза, и в них было что-то, чего Доран раньше у него не видел. Что-то похожее на стыд. — Ты знаешь, кем была эта женщина?

— Художницей.

— Её бывший муж — очень важный человек в очень важном ведомстве. Её сестра замужем за очень важным газетчиком. Её друзья... — Хэллоран махнул белой рукой. — Её друзья — это половина Джорджтауна. Та половина, которая решает, кто в этом городе будет капитаном, а кто будет регулировать движение на Пенсильвания-авеню. Понимаешь?

— Понимаю.

— Никто не хочет, чтобы это дело превратилось в цирк. Газеты уже звонят. Если начнут копать в её частной жизни... — Хэллоран замолчал. — Там есть вещи, Майк, которые никому не нужны. Ни семье, ни городу, ни стране. Понимаешь?

— Какие вещи?

— Я не знаю какие. И ты не знаешь. И мы не хотим знать. — Капитан наклонился вперёд. — У нас есть задержанный. Его видели на месте. Он мокрый, он врёт, он выбросил куртку. Прокурор говорит, что этого достаточно. Твоя задача — оформить дело так, чтобы оно было чистым. Без фантазий. Без «вопросов». Ясно?

Доран молчал долго. Так долго, что Хэллоран начал постукивать пальцами по столу.

— Капитан, — сказал он наконец. — Если этот парень не убивал, то настоящий убийца сейчас сидит где-нибудь и ужинает.

— Если этот парень не убивал, — устало сказал Хэллоран, — это выяснит суд. Для этого у нас есть суды, Майк. Иди домой.

* * *

Доран не пошёл домой.

Он поехал обратно к каналу. Было уже совсем темно, у места преступления стоял один патрульный — молодой, скучающий, курил в кулак. Доран показал значок, взял у него фонарь и спустился на бечевник.

Он стоял там долго. Слушал реку. Смотрел на тёмную воду канала, на силуэты деревьев, на огни машин наверху, на Канал-роуд, откуда смотрел механик Уиггинс. Сто ярдов. Несколько секунд. Светлая куртка, тёмная кепка.

Потом он посветил фонарём вниз, на тропу, туда, где днём лежала синяя туфля. Туфли уже не было — её забрали в управление, в конверт с номером.

Мэри Пиншо Мейер. Сорок три года. Художница.

Он не знал её. Никогда не видел живой. Никогда не узнает, какой у неё был голос, как она смеялась, что любила на завтрак. Но он видел её лицо под одеялом — это удивлённое лицо, — и почему-то был уверен, что она знала человека, который её убил. Может быть, не по имени. Но знала, что он придёт.

Доран сунул руку под рубашку и нащупал цепочку на шее. На цепочке висело тонкое золотое кольцо — обручальное кольцо Энн. Энн умерла три года назад, в больнице Джорджтаунского университета, в палате с видом на тот же Потомак. Она умирала долго, и Доран каждый вечер сидел рядом и держал её руку, и в последние дни она уже не узнавала его, но всё равно держала руку крепко, изо всех сил, как держатся за край лодки.

Он сжал кольцо в кулаке.

— Ладно, — сказал он вслух, неизвестно кому. Может быть, Энн. Может быть, женщине с синей туфлей. — Ладно.

Патрульный наверху бросил окуроч и с любопытством посмотрел на детектива, который разговаривал сам с собой в темноте.

Глава третья

Свидетельница

Доран нашёл её на третий день.

Это оказалось не так просто, как он думал. В деле Мейер не было ни одного упоминания о мисс Каллан — ни в показаниях родственников, ни в списке знакомых, который прислала семья по запросу управления. Список был короткий и странный: четыре имени, все женские, все — светские дамы из Джорджтауна, подруги по Вассару, с которыми убитая, судя по всему, не виделась годами. Как будто кто-то аккуратно составил перечень людей, которые ничего не знают.

О Рут Каллан Дорану рассказал старик-сосед из переулка за Эн-стрит — отставной почтальон, который целыми днями сидел у окна с биноклем и считал птиц. Птиц в переулке было немного, поэтому старик считал заодно и людей.

— Рыженькая, — сказал он, пожёывая пустую трубку. — Каждый день приходит к девяти, уходит в шесть. Как на службу. Миссис Мейер её пустила в свой гараж. Добрая была женщина, миссис Мейер. Мне на Рождество всегда приносила пирог. С вишней.

— А в понедельник вечером рыженькая была в мастерской?

— Была. Потом приехали двое на чёрной машине. Один здоровый, другой длинный, как жердь. А третий в машине сидел, не выходил. Рыженькая ушла со своим ящиком минут через двадцать. Быстро ушла. А они ещё час там были. Свет горел.

— Вы запомнили номер машины?

Старик посмотрел на Дорана с жалостью.

— Сынок, я птиц считаю. Номера мне ни к чему.

* * *

Мастерская была заперта — на воротах висел новый амбарный замок, блестящий, как новенький доллар. Кто-то повесил его совсем недавно: на ржавых петлях ещё виднелись светлые царапины. Доран постоял у ворот, подёргал замок, заглянул в щель. Внутри было темно.

Рыжую художницу он нашёл через багетную мастерскую на Висконсин-авеню, куда старик-сосед посоветовал ему заглянуть. «Она там подрабатывает. Рамки режет. Художники, сынок, все где-нибудь подрабатывают, иначе с голоду помрут».

Багетная мастерская называлась «Коэн и дочери», хотя никаких дочерей там не было — только сама миссис Коэн, маленькая, седая, с цепким взглядом и сантиметром на шее. Она оглядела Дорана с ног до головы, особенно задержавшись на значке, и сказала:

— Если вы пришли её мучить, то лучше не надо. Она и так третий день сама не своя.

— Я пришёл задать несколько вопросов, мэм.

— Все приходят задать несколько вопросов. — Миссис Коэн поджала губы. — Рути! К тебе. Из полиции.

Из задней комнаты, где визжала пила и пахло свежим деревом, вышла молодая женщина.

Доран потом много раз пытался вспомнить, что он подумал в первую секунду. И каждый раз честно признавался себе, что не подумал ничего. Он просто смотрел.

Она была невысокой, тонкой, с рыжими — не огненными, а тёмно-медными, как старая медь, — волосами, собранными в небрежный узел, из которого выбивались пряди. Лицо у неё было бледное, с веснушками на переносице и тенями под глазами — такими тёмными, какие бывают у людей, которые не спали несколько ночей подряд. На ней был рабочий фартук, весь в древесной пыли, а на запястье, чуть выше манжеты, темнело пятно синей краски.

Но главное были глаза. Серо-зелёные, очень внимательные, настороженные — глаза человека, который привык смотреть, а не показывать. Сейчас эти глаза смотрели на Дорана так, словно пытались понять, с какой стороны он ударит.

— Мисс Каллан? Детектив Доран. Отдел убийств.

— Я знаю, кто вы, — сказала она. — Точнее, откуда вы. Вы долго.

— Простите?

— Мэри убили три дня назад. Я была последней, кто видел её живой. Я думала, вы придёте в понедельник вечером. Или во вторник утром. — Она сняла фартук и повесила на крючок. — А вы пришли в четверг. И то, наверное, случайно.

Доран помолчал.

— Честно говоря, мисс Каллан, вас нет ни в одном списке.

Она посмотрела на него внимательно, и что-то в её лице изменилось — как будто она услышала именно то, чего боялась услышать.

— Вот как, — сказала она. — Ни в одном списке. Миссис Коэн, я выйду на полчаса.

* * *

Они сидели в кафе через дорогу — дешёвом, с пластиковыми столами и портретом президента Джонсона над кассой. Рут заказала чёрный кофе и не притронулась к нему. Доран заказал кофе и кусок яблочного пирога и тоже не притронулся.

Она рассказывала ровно, чётко, как будто давала показания в суде. Как познакомилась с Мэри — полтора года назад, на маленькой выставке в галерее на Коннектикут-авеню, где у Рут был один холст, а у Мэри — три. Как Мэри подошла к её холсту, долго смотрела, а потом сказала: «У вас правильные руки и неправильная комната». И предложила угол в мастерской.

Как прошло утро понедельника. Пончики. Кофе. Разговор о правде и похожести. Мэри ушла в полдень.

— Она говорила, куда идёт?

— На прогулку. По бечевнику. Она ходила туда почти каждый день. Говорила, что это единственное место в Вашингтоне, где можно думать.

— Она казалась встревоженной? Испуганной?

Рут помедлила.

— Она казалась... задумчивой. В последнее время она часто была задумчивой.

— С какого времени?

— С осени. С сентября. — Рут опустила глаза на чашку. — Может быть, раньше. С прошлой зимы.

Доран записал это в блокнот. Прошлая зима. Ноябрь прошлого года. Он не стал говорить это вслух — что в ноябре прошлого года вся страна стала задумчивой, — но подумал.

— Что было вечером в понедельник?

Рут рассказала про двоих мужчин. Про газетчика — мужа сестры, — которого она узнала. Про второго, худого, в очках, который не представился и обыскивал угол Мэри.

— Обыскивал? — переспросил Доран.

— Искал. Очень аккуратно. Открывал каждую папку. Простукивал стенки шкафа.

— Что он искал?

— Он спросил, не вела ли Мэри дневник. Не держала ли записей, писем.

— И что вы ответили?

— Что не знаю. Что мы не лезли в дела друг друга.

Доран поднял глаза от блокнота. Посмотрел на неё — прямо, долго, тем взглядом, которым смотрел на подозреваемых в комнате для допросов. Взглядом, который говорил: «Я подожду. У меня много времени. Больше, чем у тебя».

Рут выдержала этот взгляд. Не отвела глаз. Только пальцы её на ручке чашки чуть побелели.

— Мисс Каллан, — сказал Доран негромко. — Это была правда?

— Что именно?

— Что вы не знаете. Про дневник.

— Я не видела дневника, — сказала Рут. — Никогда. Ни разу. Если Мэри вела дневник, то не при мне.

И это тоже была правда. Альбом не был дневником. Альбом был альбомом.

Доран смотрел на неё ещё несколько секунд. Потом опустил глаза и что-то записал.

— Этот человек, в очках. Он показывал вам удостоверение? Называл ведомство?

— Нет. Газетчик сказал, что он друг семьи. Что он помогает.

— Помогает кому?

— Я тоже хотела бы знать, — сказала Рут.

— Полиция в мастерской была? Наши люди?

— Нет. Никого не было. Только эти двое. И кто-то в машине.

Доран положил ручку. Взял вилку. Отломил кусок пирога, положил в рот, прожевал, не чувствуя вкуса.

В понедельник вечером, через несколько часов после убийства, мастерскую жертвы обыскали посторонние люди. Не полиция. Друзья семьи. А полиция узнала о существовании этой мастерской — и о существовании свидетельницы, которая была там в тот день, — только на третий день и только от старика, который считает птиц. И теперь на воротах висит новенький замок, и Доран готов был поспорить на свою месячную зарплату, что ключа от этого замка в управлении нет.

— Мисс Каллан, — сказал он. — Почему вы сами не пришли в полицию?

Рут засмеялась. Смех был короткий, сухой, невесёлый.

— А вы бы пришли? На моём месте? Мне двадцать семь лет. Я дочь докера из Балтимора. Я режу рамки за доллар двадцать в час и снимаю угол в гараже. А Мэри... Мэри была из тех людей, которых вы, наверное, видели только в газетах. Её друзья обедают с сенаторами. Её бывший муж... — Она запнулась. — Вы знаете, где работает её бывший муж?

— Мне намекнули.

— Вот. А теперь представьте: в тот же вечер, когда её убили, в мастерскую приходит человек, которого никто не представил, и ищет её записи. И этот человек знает, как меня зовут, хотя я никогда его не видела. — Рут наклонилась вперёд, и Доран увидел, как дрожат её губы, и как она не даёт им дрожать. — Он назвал меня по фамилии, детектив. С первой секунды. Откуда он знал мою фамилию?

Доран молчал.

— Вот поэтому я не пришла, — тихо сказала Рут. — Я не знала, к кому приду. Я не знала, чей вы.

— Чей я? — повторил Доран.

— В этом городе все чьи-нибудь. Мэри так говорила. «В Вашингтоне, девочка, нет ничьих людей. Есть только люди, которые ещё не знают, чьи они».

Он долго смотрел на неё. Потом полез в карман пиджака, достал визитную карточку — дешёвую, отпечатанную в управлении, — и положил на стол. Перевернул. Написал на обороте номер.

— Это мой домашний, — сказал он. — Я живу один. Звоните в любое время.

Рут посмотрела на карточку. Не взяла.

— Вы не ответили на мой вопрос. Чей вы?

Доран подумал. Честно подумал — Рут видела это по его лицу, по тому, как он сдвинул брови, как посмотрел в окно, на серую Висконсин-авеню, на автобус, который полз вверх по холму.

— Я из Шамокина, штат Пенсильвания, — сказал он наконец. — Там добывают антрацит. Мой отец двадцать шесть лет спускался в шахту. Когда в шахте обвал, там не спрашивают, чей ты. Там откапывают. — Он помолчал. — Я пока ничей, мисс Каллан. Но я хочу знать, кто убил эту женщину. И я не верю, что это сделал мальчишка, которого они посадили.

Рут вздрогнула.

— Вы не верите?

— Нет.

— Почему?

— Потому что он маленький, — сказал Доран. — Потому что он глупый. Потому что он испуганный. А человек, который убил миссис Мейер, не был ни маленьким, ни глупым, ни испуганным. — Он встал, бросил на стол доллар. — Мне пора. Звоните.

Он уже был у двери, когда она окликнула его:

— Детектив.

Он обернулся.

— У вас на шее, — сказала Рут. — Цепочка. Вы всё время трогаете её, когда думаете. Это крестик?

Доран машинально коснулся рубашки там, где под тканью лежало кольцо. Он не знал, что делает это. Никто никогда не говорил ему, что он это делает. Даже Бойл, который замечал всё.

— Нет, — сказал он. — Не крестик.

Рут кивнула — так, словно получила ответ на какой-то свой вопрос. Потом, помедлив, взяла со стола визитку и сунула в карман.

* * *

Доран шёл к машине и думал о том, что она солгала.

Не во всём. Большая часть того, что она сказала, была правдой — он слышал это по голосу, видел по глазам. Правда звучит особым образом: в ней есть неровности, паузы, лишние детали. Ложь всегда глаже. Но когда он спросил про дневник, она ответила слишком быстро и слишком точно. «Я не видела дневника. Никогда. Ни разу». Так отвечают люди, которые заранее подобрали формулировку — такую, которая будет правдой и ложью одновременно.

Значит, что-то было. Не дневник, но что-то.

И она это спрятала. От того худого человека в очках — и от него, Дорана.

Он сел в машину, но не стал заводить мотор. Сидел, смотрел сквозь лобовое стекло на витрину «Коэн и дочерей», где за стеклом, среди пустых позолоченных рам, была видна рыжая голова, склонённая над верстаком.

Странное дело: он должен был злиться. Свидетельница, которая скрывает улики, — это головная боль, это препятствие, это повод для жёсткого разговора в управлении, под лампой, с угрозой обвинения в препятствовании правосудию. Он проводил такие разговоры десятки раз.

Но он не злился.

Он думал о том, что эта женщина три ночи не спала, и боялась, и никому не верила, и правильно делала, что не верила. И что она спросила про цепочку. И что за три года никто — ни один человек — не заметил, что он трогает цепочку, когда думает.

Доран завёл мотор.

— Идиот, — сказал он себе вслух. — Тридцать четыре года. Вдовец. Идиот.

Машина тронулась, и рыжая голова в витрине поднялась и посмотрела ей вслед.

Глава четвёртая

Воскресные люди

В пятницу вечером Рут открыла альбом.

Она не собиралась. Она пришла домой из мастерской миссис Коэн, поставила на плитку чайник, села на кровать, чтобы снять туфли, — и поняла, что сидит прямо над ним. Над зелё-

ным холщовым прямоугольником, завёрнутым в старую ночную рубашку и засунутым между матрасом и сеткой. Четыре ночи она спала на нём, как принцесса на горошине, и каждую ночь чувствовала его сквозь матрас — или ей казалось, что чувствует.

Детектив сказал: «Я не верю, что это сделал мальчишка».

Детектив сказал: «Звоните в любое время».

Детектив трогал цепочку на шее, когда думал, и у него были усталые серые глаза и большие руки с обломанными ногтями, и он ел пирог так, словно жевал бумагу.

Рут засунула руку под матрас и вытащила свёрток.

Чайник на плитке засвистел. Она выключила его, не глядя. Развернула рубашку. Положила альбом на колени.

Потом открыла.

* * *

Первые страницы были обычными — такими, какими Рут видела их десятки раз, когда Мэри, сидя на ящике в мастерской, листала альбом и показывала ей: «Вот, смотри, это я поймала в автобусе. Видишь, как он держит газету? Как будто это щит». наброски людей в автобусах, в кафе, на скамейках в парке Монтроуз. Голуби у Линкольна. Руки старухи, чистящей яблоко. Спящий ребёнок на плече у отца. Быстрые, уверенные линии — Мэри рисовала угольным карандашом и сангиной, никогда не стирала, никогда не исправляла. «Ошибка — это тоже линия, — говорила она. — Иногда самая честная».

Рут листала медленно. На каждой странице она видела руку Мэри, её взгляд, её манеру начинать лицо с глаз, а не с контура. И каждая страница причиняла боль — тупую, тянущую, как старый ушиб. Но она листала.

Где-то на тридцатой странице начались *они*.

Рут сразу поняла, что это другое. Изменилась даже бумага — Мэри вклеила в альбом несколько листов плотной тонированной бумаги, серо-голубой, и рисовала на ней мелом и сепией. Изменилась манера. Вместо быстрых набросков — тщательные, почти академические рисунки. Групповые портреты. Люди за столом.

Длинный стол, покрытый белой скатертью. Свечи в высоких подсвечниках. Бокалы. Лица.

Под первым рисунком Мэри написала своим летящим почерком: «Кью-стрит. Воскресенье».

Рут узнала этот стол. Она сидела за ним однажды.

* * *

Это было в марте, почти семь месяцев назад.

Мэри тогда позвонила ей в субботу вечером — в прачечную мистера Ли, другого телефона у Рут не было, — и сказала: «Надень что-нибудь не заляпанное краской и приходи завтра к семи на Кью-стрит. Я хочу, чтобы ты посмотрела на одних людей. Как художник».

— Что за люди?

— Воскресные, — сказала Мэри и засмеялась. — Ты поймёшь.

У Рут было одно приличное платье — тёмно-зелёное, шерстяное, купленное три года назад на распродаже в «Хехт». Она надела его, заколола волосы, одолжила у соседки жемчужные бусы, которые при ближайшем рассмотрении оказались пластмассовыми, и пошла на Кью-стрит пешком, потому что на такси денег не было.

Дом Уиткомбов стоял в глубине сада, за чугунной оградой — старый, федералистский, из красного кирпича, с белыми наличниками и медным фонарём над дверью. Таких домов в Джорджтауне было много, и все они выглядели так, словно их построили специально для того, чтобы в них говорили тихими голосами о важных вещах.

Дверь открыл человек в сером пиджаке.

Рут запомнила его, потому что он был единственным в доме, кто не улыбнулся. Лет сорока, среднего роста, крепкий, с короткой стрижкой и ничем не примечательным лицом — лицом, которое забываешь через минуту после того, как отвёл глаза. Но руки у него были примечательные. Аккуратные, чистые, с коротко подстриженными ногтями — руки хирурга или часовщика. Он взял у Рут пальто так бережно, словно это было не пальто, а что-то хрупкое и дорогое.

— Мисс Каллан, — сказал он. — Вас ждут.

Потом, уже за столом, Мэри шепнула ей: «Это Кейд. Шофёр Грэма. Или секретарь. Или и то и другое. Никто точно не знает, что он делает. Он всегда стоит у двери».

За столом было двенадцать человек.

Во главе сидел хозяин — Грэм Уиткомб. Высокий, седой, с красивым породистым лицом, какие бывают у сенаторов в кино и у дворецких в английских романах. Ему было около шестидесяти. Он говорил мягким, бархатным баритоном, никогда не повышал голоса и называл всех «друзья мои». Мэри рассказывала, что он тридцать лет прослужил в Государственном департаменте, был в Вене, в Берлине, в Тегеране, в Сайгоне, а потом ушёл «на вольные хлеба» — стал консультантом. Кого и о чём он консультировал, Мэри не знала. «Думаю, — сказала она, — он консультирует мир о том, каким ему быть».

На другом конце стола сидела его жена — Элеонора. Худая, прямая, с гладко зачёсанными тёмными волосами, в которых блестела седая прядь. Она почти не говорила, только следила, чтобы у гостей были полны бокалы, и иногда улыбалась — одними губами. Мэри сказала, что они с Элеонорой дружат двадцать лет, ещё с войны, когда обе работали в Вашингтоне и снимали одну квартиру на двоих.

Остальных Рут запомнила хуже. Сенатор с красным лицом и громким смехом — Мэри назвала его Хартвеллом. Газетный колумнист в бабочке, который говорил цитатами. Двое мужчин в одинаковых тёмных костюмах, которых никто никому не представлял и которые весь вечер разговаривали только друг с другом. Дама в мехах, чей муж, как объяснила Мэри, «сидит в Пентагоне на таком этаже, где нет окон». Молодой человек с портфелем, который приехал к десерту, что-то шепнул Уиткомбу на ухо и сразу уехал.

Говорили о Вьетнаме. О выборах — до них оставалось восемь месяцев, и все были уверены, что Джонсон победит, и спорили только о том, с каким перевесом. О Кубе. О новой выставке в Коркоране. О том, что в Париже снова мода на короткие юбки.

И о Далласе. О Далласе говорили осторожно, вскользь, как говорят о покойнике в присутствии вдовы. Комиссия ещё работала, отчёта ещё не было, но за этим столом, казалось, все уже знали, что в нём будет.

— Друзья мои, — сказал Уиткомб, когда колумнист в бабочке позволил себе какую-то шутку про «второго стрелка». — Давайте не будем уподобляться журналам из супермаркета. Трагедия произошла. Виновный известен. Страна должна двигаться дальше. Это не цинизм — это ответственность.

Все закивали. Даже колумнист.

А Мэри, сидевшая рядом с Рут, взяла со стола салфетку, развернула и начала что-то рисовать на ней огрызком карандаша, который достала из сумочки. Рут скосила глаза. Мэри рисовала руки Уиткомба — большие, холёные, с перстнем на мизинце, — сложенные на скатерти, как на молитве.

Когда ужин закончился и гости стали расходиться, Элеонора Уиткомб задержала Рут в прихожей. Кейд подавал пальто, и Элеонора, дождавшись, пока он отвернётся, вдруг сжала руку Рут своими холодными пальцами.

— Вы давно знаете Мэри?

— Около года.

— Она хорошо к вам относится. — Элеонора говорила быстро, очень тихо, глядя не на Рут, а куда-то за её плечо. — Она редко к кому хорошо относится. Берегите её.

— Беречь? От чего?

Но Элеонора уже отпустила её руку и улыбалась — одними губами — кому-то из гостей, и говорила своим обычным голосом: «Спасибо, что пришли. Непременно приходите ещё».

По дороге домой — Мэри настояла, чтобы они взяли такси, и заплатила — Рут спросила:

— Зачем ты меня туда позвала?

Мэри долго смотрела в окно такси на тёмные дома.

— Хотела, чтобы кто-нибудь ещё их увидел, — сказала она наконец. — Кто-нибудь, кто умеет смотреть. Понимаешь, Рут, я с ними двадцать лет. Я выросла среди таких людей. Мой дядя был губернатором Пенсильвании, мой муж... — Она махнула рукой. — Я их так хорошо знаю, что уже не вижу. А ты видишь. Ты посмотрела на них так, как смотришь на натурщика. Я это заметила.

— И что я увидела?

— Это ты мне скажи.

Рут подумала.

— Они все друзья, — сказала она медленно. — Они все очень давно друг друга знают. И они все друг друга боятся.

Мэри повернулась и посмотрела на неё. В полумраке такси её лицо было бледным и очень серьёзным.

— Да, — сказала она. — Здесь все друзья. Поэтому здесь никто не в безопасности.

* * *

Теперь Рут сидела на кровати над китайской прачечной и смотрела на рисунки Мэри.

Мэри нарисовала их всех. Не один раз — много. Ужин за ужином, воскресенье за воскресеньем. Рут насчитала одиннадцать больших рисунков, и под каждым стояла дата. Самый ранний — сентябрь шестьдесят третьего. Самый поздний — одиннадцатое октября шестьдесят четвертого. Позавчерашнее воскресенье. Последнее воскресенье в жизни Мэри.

На этом последнем рисунке Уиткомб стоял у рояля, положив руку на толстую серую книгу. Рут поняла, какая это книга, — отчёт комиссии Уоррена, его продавали во всех киосках, толстый, как телефонный справочник. Уиткомб улыбался. Все остальные за столом смотрели на него. Все, кроме одной фигуры.

Элеонора смотрела не на мужа. Она смотрела куда-то за край рисунка — туда, где, по логике композиции, должна была сидеть сама Мэри.

А у двери, на самом краю листа, стоял Кейд. Мэри нарисовала его несколькими штрихами — серый пиджак, опущенные руки. И не нарисовала лица. Вместо лица — пустой овал, светлое пятно на тонированной бумаге.

Рут почувствовала, как по спине пробежал холод.

Она перевернула лист назад, к рисунку, датированному семнадцатым ноября шестьдесят третьего года.

Тот же стол. Те же лица — почти все. Свечи. Бокалы. Уиткомб во главе стола поднял бокал, как будто произносит тост. И вот здесь — впервые — Рут заметила то, чего не замечала раньше.

Поля.

Широкие поля рисунка были испещрены мелкими цифрами. Не хаотично — рядами, аккуратными столбцами, как в бухгалтерской книге. Цифры шли группами, через точку и тире: «19 · 8 · 5 — 14 · 20 · 11...» И так на полстраницы. На первый взгляд это походило на что-то хозяйственное — счета, номера телефонов, размеры рам. Мэри вечно записывала на полях размеры холстов и цены на краски.

Но это были не размеры и не цены. Рут знала, как Мэри записывает размеры: «24×30, лён, грунт. — 6 \$». Эти цифры были другими. Они были слишком аккуратными. Слишком ровными. Мэри никогда ничего не писала аккуратно — кроме того, что хотела спрятать.

Рут стала листать дальше. Цифры были на полях не у всех рисунков — только у пяти. Семнадцатое ноября шестьдесят третьего. Двадцать второе декабря. Какое-то воскресенье в феврале. Тринадцатое сентября шестьдесят четвёртого. И одиннадцатое октября — последнее. Там цифр было больше всего: они шли по всем четырём полям, заворачивались по углам, заползали под рисунок.

Рут попыталась прочесть их как буквы — один это «А», два это «В», — и получила бессмыслицу. Попробовала наоборот — с конца алфавита. Снова бессмыслица. Попробовала через одну. Через две. Ничего.

Она сидела над альбомом до двух часов ночи, пока цифры не начали расплываться перед глазами.

Потом она дошла до последней страницы.

Последняя страница альбома была белой. Совершенно белой — чистый лист, без единой линии. Но когда Рут провела по нему пальцами, то почувствовала, что он шершавый, плотный, не такой, как остальные. Она поднесла альбом к лампе и посмотрела на лист под углом.

Лист был закрашен. Тщательно, в несколько слоёв, белой гуашью. А под гуашью, если смотреть на свет, едва-едва угадывались какие-то тени — линии, пятна, может быть, буквы.

Рут положила альбом на колени и долго сидела неподвижно.

Мэри не просто рисовала своих воскресных друзей. Мэри что-то записывала о них — записывала так, чтобы никто не смог прочесть. А потом что-то спрятала ещё глубже — под белой краской. И отдала альбом Рут. Именно Рут. Не сестре. Не бывшему мужу. Не Элеоноре, с которой дружила двадцать лет. Рут — дочери балтиморского докера, которая режет рамки за доллар двадцать в час.

«Кто-нибудь, кто умеет смотреть».

Рут закрыла альбом.

За окном, на Двадцать третьей улице, медленно проехала машина — длинная, тёмная. Проехала и остановилась на углу. Мотор работал. Огонёк сигареты мерцал за стеклом.

Рут выключила свет и подошла к окну, встав сбоку, за занавеской, как героини в тех фильмах, над которыми они с Мэри когда-то смеялись.

Машина простояла на углу двадцать минут. Потом огонёк погас, мотор взревел, и машина уехала в сторону Пенсильвания-авеню.

Рут стояла у окна до рассвета.

Утром, в половине восьмого, она спустилась вниз, в прачечную, где мистер Ли уже развешивал на верёвках мокрые простыни, и попросила разрешения позвонить. Нашла в кармане пальто визитную карточку — дешёвую, отпечатанную в управлении, с номером на обороте.

Долго держала трубку, не набирая.

Потом положила её на рычаг.

Не сейчас. Ещё не сейчас. Она ещё не знала, чей он.

Глава пятая

Похороны

Отпевали Мэри в субботу, в маленькой каменной церкви в Джорджтауне, где пахло воском, старым деревом и хризантемами. Хризантем было так много, что они стояли вдоль стен в ведрах, как на рынке, — белые, жёлтые, ржаво-красные. Мэри ненавидела хризантемы. Она говорила, что это цветы для людей, которые не знают, что сказать.

Рут пришла одна и встала в самом конце, у двери, за колонной. На ней было то же тёмно-зелёное платье — другого приличного у неё не было — и чёрный платок, который она купила утром в «Вулворте» за сорок девять центов. Платок был слишком новым и пах магазином.

Церковь была полна. Рут никогда не видела столько людей, которые выглядели бы так одинаково: тёмные пальто, тёмные шляпы, бледные лица, опущенные глаза. Мужчины стояли ровно, как на параде. Женщины держали сумочки обеими руками перед собой. Никто не плакал вслух. Здесь, видимо, не было принято плакать вслух.

В первом ряду сидела сестра Мэри — Рут узнала её по затылку, по тем же светлым волосам, по той же посадке головы. Рядом — газетчик, огромный, ссутулившийся, с шеей, красной от тесного воротника. Чуть дальше — высокий мужчина с жёстким профилем, которого Рут видела однажды на фотографии в мастерской и сразу поняла, кто это. Бывший муж. Он сидел очень прямо и смотрел на гроб так, словно гроб был документом, который ему предстояло подписать.

Двумя рядами дальше — Уиткомбы.

Грэм сидел, склонив седую голову, и губы его шевелились — то ли молитва, то ли он повторял про себя что-то, что собирался сказать. Элеонора сидела рядом, прямая, неподвижная, в чёрной шляпке с короткой вуалью. Руки в чёрных перчатках лежали у неё на коленях, и Рут видела, как пальцы одной руки медленно, методично, раз за разом сжимают и разжимают пальцы другой.

А у стены, в боковом проходе, в тени, стоял худой человек в очках. Он не молился и не смотрел на гроб. Он смотрел на людей. Медленно, ряд за рядом, лицо за лицом — как в мастерской, когда он осматривал полки.

Когда его взгляд дошёл до последних рядов, Рут отступила за колонну.

Священник говорил о Мэри как о прекрасной матери, преданной дочери, талантливой художнице и верной подруге. Всё это было правдой, и всё это было неправдой, потому что это были слова, которые можно сказать о ком угодно. Он не сказал, что Мэри смеялась, запрокидывая голову. Что она пила кофе из щербатой кружки, которую ни за что не соглашалась выбросить. Что она ходила быстро, всегда быстро, как будто опаздывала на поезд. Что она никогда не стирала неправильных линий.

Он не сказал, что её застрелили в спину.

Рут стояла за колонной и смотрела на гроб — полированный, тёмный, с бронзовыми ручками, заваленный белыми лилиями, — и не чувствовала ничего. Совсем ничего. Как будто всё, что могло болеть, уже отболело в ту ночь в мастерской, когда она держалась за шершавый край стола.

* * *

Когда служба закончилась и гроб вынесли — Мэри увозили в Пенсильванию, в Милфорд, чтобы похоронить рядом с сыном, — люди вышли на ступени церкви и остановились там небольшими группами. Разговаривали вполголоса. Курили. Кто-то уже поглядывал на часы.

Рут хотела уйти незаметно. Она почти дошла до угла, когда её окликнули.

— Мисс Каллан?

Она обернулась.

Грэм Уиткомб стоял в двух шагах от неё, высокий, седой, в безупречном чёрном пальто, с шляпой в руке. Лицо его выражало ровно столько скорби, сколько полагалось, — ни больше ни меньше.

— Простите, что задерживаю вас. Мы встречались весной, у нас дома. Вы приходили с Мэри. — Он улыбнулся — печально, мягко. — Вы, наверное, меня не помните.

— Помню, мистер Уиткомб.

— Грэм. Пожалуйста. — Он помолчал. — Какое ужасное, бессмысленное горе. Я знал Мэри двадцать лет. Я не могу поверить, что её больше нет. Что какой-то... — Он не договорил, покачал головой. — Слава Богу, этого человека взяли быстро. Хотя бы это.

Рут молчала.

— Мэри много говорила о вас, — продолжал Уиткомб. — Говорила, что вы очень одарены. Что у вас, как она выражалась, «правильные руки». Она редко так о ком-то говорила.

— Она была добра ко мне.

— Она была добра ко всем. Это было её главным недостатком. — Уиткомб грустно улыбнулся. — Мисс Каллан, я хочу вам кое-что предложить. Не сочтите это неуместным — я понимаю, какой сегодня день. Но мне кажется, Мэри хотела бы этого.

— Что именно?

— У моего старого друга есть галерея на Пи-стрит. Небольшая, но с очень хорошей репутацией. Весной он планирует выставку молодых художников Вашингтона, и я уверен, что он с радостью выделит вам отдельную стену. Может быть, даже зал. Хорошая пресса, хорошие покупатели. Для молодого художника это... — он развёл руками, — это начало пути.

Рут смотрела на него. На красивое породистое лицо. На седые волосы, аккуратно зачёсанные назад. На перстень на мизинце — тот самый, который Мэри нарисовала на салфетке.

— Почему? — спросила она.

— Простите?

— Почему вы это делаете, мистер Уиткомб? Вы видели меня один раз.

Уиткомб не смутился. Он вообще, кажется, не умел смущаться.

— Потому что Мэри вас любила. И потому что мне хочется сделать что-то в её память. Что-то хорошее. — Он достал из внутреннего кармана визитную карточку — плотную, кремовую, с тиснением — и протянул ей. — Позвоните мне, когда будете готовы. И ещё... — Он чуть понизил голос. — Мэри ничего вам не оставляла? Каких-нибудь бумаг, записей? Может быть, альбомов? Она всё время рисовала, вы знаете. Её семья хотела бы собрать всё, что от неё осталось. Для памяти. Для детей.

Особенно если будут очень вежливы.

— Нет, — сказала Рут. — Ничего.

Уиткомб смотрел на неё одну секунду — не дольше. Но в эту секунду из его глаз ушло всё: скорбь, мягкость, печальная улыбка. Остался только взгляд — прямой, оценивающий, холодный, как у человека, который смотрит на карту и прикидывает расстояния.

Потом всё вернулось на место.

— Жаль, — сказал он. — Но если что-нибудь найдётся — вы позвоните. Правда?

Он надел шляпу, кивнул и пошёл к длинной тёмной машине, стоявшей у тротуара. У машины, держа дверцу, стоял Кейд. Серый пиджак, опущенные руки. Когда Уиткомб сел, Кейд посмотрел вверх крыши машины прямо на Рут.

Он не улыбнулся. Он просто посмотрел — спокойно, внимательно, без всякого выражения, — как смотрят на номер дома, чтобы запомнить.

Рут почувствовала, что у неё холодеют руки.

* * *

— Не оборачивайтесь, — сказал кто-то рядом с ней. — Просто идите. Налево, вниз по улице.

Она узнала голос раньше, чем увидела его. Низкий, медленный, с тягучими пенсильванскими гласными.

Детектив Доран шёл рядом с ней, чуть позади, засунув руки в карманы тёмного плаща. Шляпу он надвинул на глаза, и в этой шляпе, в этом плаще он был похож на любого из мужчин у церкви — если не смотреть на его ботинки. Ботинки были старые, стоптанные, с потрескавшейся кожей на сгибах. Таких ботинок не было ни у кого из тех, кто стоял на ступенях.

— Вы здесь давно? — спросила Рут, не поворачивая головы.

— С начала. Стоял у другой двери. — Он помолчал. — Вы хорошо спрятались за колонной. Но недостаточно хорошо.

— Он меня видел?

— Тот, в очках? Видел. Он всех видел. Он для этого и пришёл.

Они дошли до угла и свернули на Тридцать первую улицу. Здесь было тихо — старые кирпичные дома, облетающие клёны, листья на тротуаре, жёлтые и красные, мокрые после ночного дождя. Где-то играло радио. Женщина в фартуке мыла ступени крыльца.

— Что вам сказал Уиткомб? — спросил Доран.

Рут посмотрела на него.

— Вы знаете, кто он?

— Теперь знаю. Потратил два дня. — Доран пожал плечами. — Бывший дипломат. Бывший советник по особым вопросам при каком-то комитете, который не значится ни в одном справочнике. Член трёх клубов, в один из которых не принимают никого, кроме членов двух других. Жертвует на оперу. Налоги платит аккуратно. — Он помолчал. — А его шофёр, мистер Льюис Кейд, не значится вообще нигде. Ни в налоговых списках, ни в телефонной книге, ни в картотеке водительских прав округа Колумбия. Для человека, который работает шофёром, это любопытно.

— Уиткомб предложил мне выставку, — сказала Рут. — В галерее своего друга. Отдельную стену. Может быть, зал.

Доран присвистнул тихо.

— Щедро.

— И спросил, не оставила ли мне Мэри бумаг. Записей. Альбомов.

Доран остановился. Рут тоже остановилась. Они стояли посреди тротуара, под облетающим клёном, и лист — большой, пятипалый, багровый — медленно опустился Дорану на плечо и остался там.

— Альбомов, — повторил Доран. — Он так и сказал — альбомов?

— Да.

— Не дневников. Альбомов.

— Да.

Доран смотрел на неё долго. Рут видела, как он думает — медленно, тяжело, как будто ворочает в голове камни. Потом он спросил:

— И что вы ответили?

— Что ничего нет.

— Это правда?

Рут не ответила.

Доран вздохнул. Снял с плеча лист, покрутил в пальцах, бросил на тротуар.

— Мисс Каллан, — сказал он тихо. — Послушайте меня. Я не буду вас допрашивать. Не буду тащить вас в управление и светить в лицо лампой. Я даже не буду спрашивать, что именно вы прячете. Но я вам скажу одну вещь, и вы её запомните. Хорошо?

— Хорошо.

— Вчера Крампу предъявили обвинение. Убийство первой степени. Прокурор уверен, что дело выигрышное. Мой капитан уверен. Все уверены. Газеты уже написали, что убийца пойман. Понимаете, что это значит?

— Что дело закрыто.

— Что дело закрыто. Что никто больше ничего не ищет. Официально. — Доран наклонился к ней чуть ближе. — А неофициально кто-то очень хочет найти то, что Мэри Мейер оставила после себя. Настолько хочет, что в тот же вечер прислал человека обыскать мастерскую. Настолько хочет, что на похоронах предлагает вам выставку. И если этот кто-то решит,

что у вас что-то есть, — у вас не будет ни полиции, ни прокурора, ни газет. У вас не будет никого. Вы понимаете?

Рут понимала. Она понимала это с понедельника. Но почему-то сейчас, здесь, на тихой улице под облетающим клёном, от этих слов, сказанных низким медленным голосом, ей стало не страшнее, а спокойнее. Как будто кто-то наконец произнёс вслух то, что она неделю носила в себе одна.

— А вы? — спросила она. — У меня будете вы?

Доран не ответил сразу. Он смотрел на неё, и на его лице было выражение, которое Рут потом долго пыталась вспомнить и нарисовать и так и не смогла. Что-то среди растерянности и упрямства. Как у человека, который стоит на краю холодной воды и уже знает, что прыгнет, но ещё не прыгнул.

— Меня отстранят, — сказал он наконец. — Может быть, не сегодня. Но скоро. Капитан уже намекнул. Если я буду копать, меня переведут на кражи велосипедов в Анакотию. И там я буду никому не опасен.

— Это не ответ.

— Нет, — согласился он. — Не ответ.

Он снова замолчал. Потом полез под рубашку, вытащил цепочку и показал ей тонкое золотое кольцо.

— Вы спрашивали, крестик ли это. Нет. Это кольцо моей жены. Энн. Она умерла три года назад. Рак. В госпитале на Резервуар-роуд, в палате с видом на реку. — Он говорил ровно, без выражения, как будто читал рапорт. — Я не знаю, зачем я вам это говорю. Может быть, затем, чтобы вы поняли. Мне нечего терять, мисс Каллан. У меня нет семьи, которую могут напугать. Нет карьеры, которую жалко. Нет друзей в Джорджтауне. Есть только эта работа. И если я не могу делать эту работу честно — зачем она мне?

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.